

Рождение человека

Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн.

Осень. В белой пене Кодора кружились, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи, я сидел на камнях над рекой и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет море.

Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойманный, прыгает желто-красный горный дятел-расудук, стучит черным носом по коре ствола, выгоняя насекомых, а ловкие синицы и сизые поползни гости с далекого севера клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, угрожая дождем, дымные облака, от них ползут тени по зеленым скатам, где растет мертвое дерево самшит, а в дуплах старых буков и лип можно найти пьяный мед, который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый легион железных римлян; пчелы делают его из цветов лавра и азалии, а проходящие люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш тонкую лепешку из пшеничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под каштанами, сильно искушенный сердитой пчелой, макал куски хлеба в котелок, полный меда, и ел, любуясь ленивой игрою усталого солнца осени.

Осенью на Кавказе точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы они же всегда и великие грешники, построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у тюркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и всё снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

Твое от Твоих Тебе.

...Я вижу, как длиннобородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их живою тканью многообразных деревьев, и безумно-красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли.

Превосходная должность быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красотой!

Ну, да порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью и тоска жадно сосет кровь сердца, но это не навсегда дано, да ведь и солнцу часто очень грустно смотреть на людей: так много потрудились они для них, а не удались людишки...

Разумеется, есть немало и хороших, но их надобно починить или лучше переделать заново.

...Над кустами, влево от меня, качаются темные головы: в шуме волн моря и ропоте реки чуть слышно звучат человеческие голоса это голодающие идут на работу в Очемчиры из Сухума, где они строили шоссе.

Я знаю их орловские, вместе работал с ними и вместе рассчитался вчера; ушел я раньше их, в ночь, чтобы встретить восход солнца на берегу моря. Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, беременная, с огромным, вздутым к носу животом, испуганно вытаращенными глазами, синевато-серого цвета. Я вижу над кустами ее голову в желтом платке, она качается, точно цветущий подсолнечник под ветром. В Сухуме у нее помер муж объелся фруктами. Я жил в бараке среди этих людей: по доброй русской привычке они толковали о своих несчастьях так много и громко, что, вероятно, их жалобные речи было слышно верст на пять вокруг.

Это скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой, неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь незнакомой природы изумив ослепила, а тяжкие условия труда окончательно пришибли этих людей. Они смотрели на все здесь, растерянно мигая выцветшими, грустными глазами, жалко улыбаясь друг другу, тихо говоря:

А-яй... экая землища...

Прямо прет из нее.

Н-да-а... а однако камень ведь...

Неудобная земля, надобно сказать...

И вспоминали о Кобыльем ложке, Сухом гоне, Мокреньком о родных местах, где каждая горсть земли была прахом их дедов и все памятно, знакомо, дорого орошено их потом.

Была там с ними еще одна баба высокая, прямая, плоская, как доска, с лошадиными челюстями и тусклым взглядом черных, точно угли, косых глаз. Вечерами она, вместе с этой в желтом платке, уходила за барак и, сидя там на груде щебня, положив щеку на ладонь, склоня голову вбок, пела высоким и сердитым голосом:

За погостом...
во зелены-их куста-ах
На песочку...
расстелю я белый плат...
Не дождусь ли...
дружка милого мово...
Придет милый...
поклонюся яй ему...

Желтая обычно молчала, согнув шею и разглядывая свой живот, но иногда вдруг, неожиданно, лениво и густо, мужицким сиповатым голосом вступала в песню рыдающими словами:

Ой-да милый...
ой, миленок дорагой...
Не судьба мне...
боле видеться с табой...

В черной душной темноте южной ночи эти плачевные голоса напоминали север, снежные пустыни, визг метели и отдаленный вой волков...

Потом косоглазая баба заболела лихорадкой и ее снесли в город на носилках из брезента она тряслась в них и мычала, словно продолжая петь свою песню о погосте и песочке.

...Нырять в воздухе, желтая голова исчезла.

Я кончил свой завтрак, закрыл листьями мед в котелке, завязал котомку и не спеша двинулся вослед ушедшим, постукивая кизиловой палкой о твердый грунт тропы.

Вот и я на узкой, серой полосе дороги, справа качается густо-синее море; точно невидимые столяры строгают его тысячами фуганков белая стружка, шурша, бежит на берег, гонимая ветром, влажным, теплым и пахучим, как дыхание здоровой женщины. Турецкая фелюга, накреньясь на левый борт, скользит к Сухуму, надув паруса, как важный сухумский инженер надувал свои толстые щеки серьезнейший человек. Почему-то он говорил вместо тише чише и хыть вместо хоть.

Чише! Хыть ты и боек, но я тебя моментально в полицию... Любил он отправлять людей в полицию, и хорошо думать, что теперь его, наверное, уже давно, до костей обглодали червяки могилы.

...Идти легко, точно плывешь в воздухе. Приятные думы, пестро одетые воспоминания, ведут в памяти тихий хоровод; этот хоровод в душе как белые гребни волн на море, они сверху, а там, в глубине, спокойно, там тихо плавают светлые и гибкие надежды юности, как серебряные рыбы в морской глубине. Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подползает ближе к песчаной полосе,

куда вбегают волны, кустам тоже хочется заглянуть в лицо волны, они наклоняются через ленту дороги, точно кивая синему простору водной пустыни.

Ветер подул с гор будет дождь.

...Тихий стон в кустах человеческий стон, всегда родственно встряхивающий душу.

Раздвинув кусты, вижу опираясь спиной о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом платке, голова опущена на плечо, рот безобразно растянут, глаза выкатились и безумны; она держит руки на огромном животе и так неестественно страшно дышит, что весь живот судорожно прыгает, а баба, придерживая его руками, глухо мычит, обнажив желтые, волчьи зубы. Что ударили? спросил я, наклоняясь к ней, она сучит, как муха, голыми ногами в пепельной пыли и, болтая тяжелой головою, хрипит:

Уди-и... бесстыжий... ух-ходи...

Я понял, в чем дело, это я уже видел однажды, конечно, испугался, отпрыгнул, а баба громко, протяжно завывала, из глаз ее, готовых лопнуть, брызнули мутные слезы и потекли по багровому, натужно надутому лицу. Это воротило меня к ней, я сбросил на землю котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиной на землю и хотел согнуть ей ноги в коленях она оттолкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, повернулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла на четвереньках дальше в кусты:

Разбойник... дьявол...

Подломились руки, она упала, ткнулась лицом в землю и снова завывала, судорожно вытягивая ноги.

В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, что знал по этому делу, я перевернул ее на спину, согнул ноги у нее уже вышел околоплодный пузырь. Лежи, сейчас родишь...

Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и стал акушером.

Баба извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала землю страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась головка, я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот...

Мы немножко ругали друг друга, она сквозь зубы, я тоже не громко, она от боли, и, должно быть, от стыда, я от смущения и мучительной жалости к ней... Х-хосподи, хрипит она, синие губы закусены и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на солнце, все льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и все тело ее ломается, разделяемое надвое.

Ух-ходи ты, бес...

Слабыми, вывихнутыми руками она все отталкивает меня, я убедительно говорю:

Дуреха, роди, знай, скорее...

Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать, и я кричу:

Ну, скорей!

И вот на руках у меня человек красный. Хоть и сквозь слезы, но я вижу он весь красный и уже недоволен миром, барахтается, буйнит и густо орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом лице, губы шевелятся и тянут:

Я-а... я-а..

Такой скользкий того и гляди уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу очень рад видеть его! И забыл, что надобно делать...

Режь... тихо шепчет мать, глаза у нее закрыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:

Ножиком... перережь...

Нож у меня украли в бараке я перекусываю пуповину, ребенок орет орловским басом, а мать улыбается: я вижу, как удивительно расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем темная рука шарит по юбке, ища карман, и окровавленные, искусанные губы шелестят:

Н-не... силушки... тесемочка кармани... перевязать пупочек...

Достал тесемку, перевязал, она улыбается все ярче; так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой улыбки.

Оправляйся, а я пойду, вымою его...

Она беспокойно бормочет:

Мотри тихонечко... мотри же...

Этот красный человечище вовсе не требует осторожности: он сжал кулак и орет, орет, словно вызывая на драку с ним:

Я-а... я-а...

Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут...

Особенно серьезно и громко крикнул он, когда его впервые обдало пенной волной моря, весело хлестнувшей обоих нас; потом когда я стал нашлепывать грудь и спинку ему, он зажмурил глаза, забился и завизжал пронзительно, а волны, одна за другою, всё обливали его.

Шуми, орловский! Кричи во весь дух...

Когда мы с ним воротились к матери, она лежала, снова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, извергавших послед, но, несмотря на это, сквозь стоны и вздохи, я слышал ее умирающий шепот:

Дай... дай его...

Подождет.

Дай-ко...

И дрожащими неверными руками расстегивала кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заготовленную природой на двадцать человек детей, приложил к теплomu ее телу буйного орловца, он сразу все понял и замолчал. Пресвятая, пречистая, вздрагивая, вздыхала мать и перекатывала растрепанную голову по котомке с боку на бок.

И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом снова открылись эти донельзя прекрасные глаза святые глаза родительницы, синие, они смотрят в синее небо, в них горит и тает благодарная, радостная улыбка; подняв тяжелую руку, мать медленно крестит себя и ребенка...

Слава те, пречистая мать божия... ох... слава тебе...

Глаза угасли, провалились, она долго молчит, едва дыша, и вдруг деловито, отвердевшим голосом сказала:

Развяжи, паренек, котомку мою...

Развязали, она взглянула на меня пристально, слабенько усмехнулась, как будто чуть заметно румянец блеснул на опавших щеках и потном лбу.

Отойди-ка...

Ты очень-то не возись...

Ну, ну... отойди.

Отошел недалеко в кусты. Сердце как будто устало, а в груди тихо поют какие-то славные птицы, и это вместе с немолчным плеском моря так хорошо, что можно бы слушать год...

Где-то недалеко журчит ручей точно девушка рассказывает подруге о возлюбленном своем...

Над кустами поднялась голова в желтом платке, уже повязанном, как надобно.

Эй, эй, это ты, брат, рано завозилась!

Придерживаясь рукою за ветку кустарника, она сидела, точно выпитая, без кровинки в сером лице, с огромными синими озерами на месте глаз, и умиленно шептала:

Гляди как спит...

Спал он хорошо, но, на мой взгляд, ничем не лучше других детей, а если и была разница, так она падала на обстановку: он лежал на куче ярких осенних листьев, под кустом, какие не растут в Орловской губернии.

Ты бы, мать, легла...

Не-е, сказала она, покачивая головою на развинченной шее, мне прибираться надобно да идти в энти самые...

В Очемчиры?

Во-от! Наши-те, поди, сколько верст ушагали...
Да разве ты можешь идти?
А богородица-то? Пособит...
Ну, уж если она вместе с богородицей, надо молчать!
Она смотрит под куст на маленькое, недовольно надутое лицо, изливая из глаз теплые лучи ласкового света, облизывает губы и медленным движением руки поглаживает грудь.
Я развожу костер, прилаживаю камни, чтобы поставить чайник.
Сейчас я тебя, мать, чаем угощу...
О? Напой-ка... ссохлось все в грудях-то у меня...
Что ж это земляки бросили тебя?
Они не бросили зачем! Я сама отстала, а они выпимши, ну... и хорошо, а то как бы я распросталась при них-то.
Взглянув на меня, она закрыла лицо локтем, потом, сплюнув кровью, стыдливо усмехнулась.
Первый у тебя?
Первенькой... А ты кто?
Вроде как бы человек...
Конечно, человек! Женатый?
Не удостоился...
Врешь?
Зачем?
Она опустила глаза, подумала.
А как же ты бабьи дела знаешь?
Теперь совру. И я сказал:
Учился этому. Студент слыхала?
А как же! У нас у попа сын старшой студент тоже, на попа учится...
Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой...
Женщина наклонила голову к сыну, прислушалась дышит ли? потом поглядела в сторону моря.
Помыться бы мне, а вода незнакомая... Что это за вода? И солена и горька...
Вот ты ею и помойся здоровая вода! Ой?
Верно. И теплей, чем в ручье, а ручьи здесь как лед...
Тебе знать...
Дремля, свесив голову на грудь, шагом проехал абхазец; маленькая лошадка, вся из сухожилий, прядая ушами, покосилась на нас круглым черным глазом фыркнула, всадник сторожко взметнул башкой, в мохнатой меховой шапке, тоже взглянул в нашу сторону и снова опустил голову.
Эки люди здесь несуразные да страховидные, тихо сказала орловка.

Я ушел. По камням прыгает, поет струя светлой и живой, как ртуть, воды, в ней весело кувыркаются осенние листья чудесно! Вымыл руки, лицо, набрал воды полный чайник, иду и вижу сквозь кусты женщина, беспокойно оглядываясь, ползет на коленях по земле, по камням.

Чего тебе?

Испугалась, посерела и прячет что-то под себя, я догадался.

Дай мне, я зарюю...

Ой, родимый! Как же? В предбаннике надо бы, под полом...

Скоро ли здесь баню выстроят, подумай!

Шутишь ты, а я боюсь! Вдруг зверь съест... а ведь место надобно земле отдать...

Отвернулась в сторону и, подавая мне сырой, тяжелый узелок, тихо, стыдливо попросила:

Уж ты лучше как, поглубже, Христа ради... жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней...

...Когда я воротился, то увидел, что она идет, шатаясь и вытянув вперед руку, от моря, юбка ее по пояс мокра, а лицо зарумянилось немножко и точно светится изнутри. Помог ей дойти до костра, удивленно думая:

Эка силища звериная!

Потом пили чай с медом, и она тихонько спрашивала меня:

Бросил ученье-то?

Бросил.

Пропился, что ли?

Окончательно пропился, мать!

Экой ты какой! А ведь я те помню, в Сухуме заметила, когда ты с начальником из-за харчей ругался; так тогда и подумалось мне видно, мол, пропойца, бесстрашный такой...

И, вкусно облизывая языком мед на вспухших губах, все косилась синими глазами под куст, где спокойно спал новейший орловец.

Как-то он поживет? вздохнув, сказала она, оглядывая меня. Помог ты мне спасибо... а хорошо ли это для него, и не знаю уж...

Напилась чаю, поела, перекрестилась, и, пока я собирал свое хозяйство, она, сонно покачиваясь, дремала, думала о чем-то, глядя в землю снова выцветшими глазами. Потом стала подниматься.

Неужто идешь?

Иду.

Ой, мать, гляди!

А богородица-то?.. Дай-ко мне его!

Я его понесу...

Поспорили, она уступила, и пошли, плечо в плечо друг с другом.

Кабы мне не трюхнуться, сказала она, виновато усмехаясь, и положила руку на плечо мое.

Новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плескалось и шуршало море, все в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень.

Шли тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви.

Однажды, остановясь, она сказала:

Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы все шла, все бы шла, до самого аж до края света, а он бы, сынок, рос, да все бы рос на приволье, коло матерней груди, родимушка моя...

...Море шумит, шумит...